

I

Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли вразброс: около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых; производилась смена караулов; унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познания своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, больше частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном: «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примера от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность.

— Хлебников! Дьявол косорукой! — кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповален-

ко, и в голосе его слышалось начальственное страдание. — Я ж тебя учил-учил, дурня! Ты же чье сейчас приказанье сполнил? Арестованного? А, чтоб тебя!.. Отвечай, для чего ты поставлен на пост?

В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальника — и настоящего и воображаемого. Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом:

— З-заколу!

— Да постой... да дурак ты... — уговаривал его унтер-офицер Бобылев. — Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть...

— Заколу! — кричал татарин испуганно и злобно и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздыху в надоевшем ученье.

Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги, на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое: поручик Веткин — лысый, усатый человек лет тридцати трех, весельчак, говорун, певун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах, — весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами.

— Свинство, — сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой. — Какого черта он держит до сих пор роту? Эфиоп!

— А вы бы ему это объяснили, Павел Павлыч, — посоветовал с хитрым лицом Лбов.

— Черта с два. Подите объясняйте сами. Главное — что. Главное — ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порют. И всегда переборщат. Задержают солдата, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень. Знаете известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба? Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое — что-то около ста рублей. Вот один солдат съел семь фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеля: «Ты что же, такой, разэтакий, подвел меня?» А фельдфебель только глазами лупает: «Так что не могу знать, вашескородие, что с ими случилось. Утром делали репетицию — восемь фунтов стрескал в один присест...» Так вот и наши... Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу.

— Вчера... — Лбов вдруг прыснул от смеха. — Вчера, уж во всех ротах кончили занятия, я иду на квартиру, часов уже восемь, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в одиннадцатой роте сигналы учат. Хором. «Наве-ди, до гру-ди, по-па-ди!» Я спрашиваю поручика Андрусевича: «Почему это у вас до сих пор идет такая музыка?» А он говорит: «Это мы, вроде собак, на луну воем».

— Все надоело, Кука! — сказал Веткин и зевнул. — Пойдите-ка, кто это едет верхом? Кажется, Бек?

— Да. Бек-Агамалов, — решил зоркий Лбов. — Как красиво сидит.

— Очень красиво, — согласился Ромашов. — По моему, он лучше всякого кавалериста ездит. О-о-о! Заплясала. Кокетничает Бек.

По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким, по-английски, хвостом. Она горячилась, нетер-

пеливо мотала крутой, собранной мундштуком шеей и часто перебирала тонкими ногами.

— Павел Павлыч, это правда, что он природный черкес? — спросил Ромашов у Веткина.

— Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин, но Бек вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади!

— Подождите, я ему крикну, — сказал Лбов.

Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голосом, так, чтобы не слышал ротный командир:

— Поручик Агамалов! Бек!

Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам.

Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его, с покатым назад лбом, тонким горбатым носом и решительными, крепкими губами, было мужественно и красиво и еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности — одновременно смуглой и матовой.

— Здравствуй, Бек, — сказал Веткин. — Ты перед кем там выфинчивал? Дэвыцы?

Бек-Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные, холеные усы...

— Ходили там две хорошенькие жидовочки. Да мне что? Я ноль внимания.

— Знаем мы, как вы плохо в шашки играете! — мотнул головой Веткин.

— Послушайте, господа,— заговорил Лбов и опять заранее засмеялся. — Вы знаете, что сказал генерал Дохтуров о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. Что они самые отчаянные наездники во всем мире...

— Не ври, фендрик! — сказал Бек-Агамалов.

Он толкнул лошадь шенкелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика.

— Ей-богу же! У всех у них, говорит, не лошади, а какие-то гитары, шкáпы — с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. А дашь ему приказание — знай себе жарит куда попало, во весь карьер. Забор так забор, овраг так овраг. Через кусты валяет. Поводья упустил, стремена растерял, шапка к черту! Лихие ездоки!

— Что слышно нового, Бек? — спросил Веткин.

— Что нового? Ничего нового. Сейчас, вот только что, застал полковой командир в собрании подполковника Леха. Разорался на него так, что на соборной площади было слышно. А Лех пьян, как змий, не может папу-маму выговорить. Стоит на месте и качается, руки за спину заложил. А Шульгович как рявкнет на него: «Когда разговариваете с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать!» И прислуга здесь же была.

— Крепко завинчено! — сказал Веткин с усмешкой — не то иронической, не то поощрительной. — В четвертой роте он вчера, говорят, кричал: «Что вы мне устав в нос тычете? Я — для вас устав, и никаких больше разговоров! Я здесь царь и бог!»

Лбов вдруг опять засмеялся своим мыслям.

— А вот еще, господа, был случай с адъютантом в N-ском полку...

— Заткнитесь, Лбов,— серьезно заметил ему Веткин. — Эко вас прорвало сегодня.

— Есть и еще новость,— продолжал Бек-Агамалов. Он снова повернул лошадь передом ко Лбову

и, шутя, стал наезжать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасывая вокруг себя пену. — Есть и еще новость. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В девятой роте такого холоду нагнал, что ужас. Елифанова закатал под арест за то, что пашка оказалась не отточена... Чего ты трусишь, фендрик! — крикнул вдруг Бек-Агамалов на подпрапорщика. — Привыкай. Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде.

— Ну, ты, азиат!.. Убирайся со своим одром дохлым, — отмахивался Лбов от лошадиной морды. — Ты слышал, Бек, как в N-ском полку один адъютант купил лошадь из цирка? Выехал на ней на смотр, а она вдруг перед самым командующим войсками начала испанским шагом парадировать. Знаешь, так: ноги вверх и этак с боку на бок. Врезался, наконец, в головную роту — суматоха, крик, безобразие. А лошадь — никакого внимания, знай себе испанским шагом разделяет. Так Драгомиров сделал рупор — вот так вот — и кричит: «Поручи-ик, тем же аллюром на гауптвахту, на двадцать один день, ма-арш!..»

— Э, пустяки, — сморщился Веткин. — Слушай, Бек, ты нам с этой рубкой действительно сюрприз преподнес. Это значит что же? Совсем свободного времени не останется? Вот и нам вчера эту уроду принесли.

Он показал на середину плаца, где стояло сделанное из сырой глины чучело, представлявшее некоторое подобие человеческой фигуры, только без рук и без ног.

— Что же вы? Рубили? — спросил с любопытством Бек-Агамалов. — Ромашов, вы не пробовали?

— Нет еще.

— Тоже! Стану я ерундой заниматься, — заворчал Веткин. — Когда это у меня время, чтобы ру-

бить? С девяти утра до шести вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать и водки выпить. Я им, слава богу, не мальчик дался...

— Чудак. Да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой.

— Зачем это, спрашивается? На войне? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на сто шагов не подпустят. На кой мне черт твоя шашка? Я не кавалерист. А понадобится, я уж лучше возьму ружье да прикладом — бац-бац по башкам. Это вернее.

— Ну, хорошо, а в мирное время? Мало ли сколько может быть случаев. Бунт, возмущение там или что...

— Так что же? При чем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы. «Ро-ота, пли!» — и дело в шляпе...

Бек-Агамалов сделал недовольное лицо.

— Э, ты все глупишь, Павел Павлыч. Нет, ты отвечай серьезно. Вот идешь ты где-нибудь на гулянье или в театре, или, положим, тебя в ресторане оскорбил какой-нибудь шпак... возьмем крайность — даст тебе какой-нибудь штатский пощечину. Ты что же будешь делать?

Веткин поднял кверху плечи и презрительно поджал губы.

— Н-ну! Во-первых, меня никакой шпак не ударит, потому что бьют только того, кто боится, что его побьют. А во-вторых... ну, что же я сделаю? Бац-ну в него из револьвера.

— А если револьвер дома остался? — спросил Лбов.

— Ну, черт... ну, съезжу за ним... Вот глупости. Был же случай, что оскорбили одного корнета в кафешантане. И он съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал двух каких-то рябчиков. И все!..

Бек-Агамалов с досадой покачал головой.

— Знаю. Слышал. Однако суд признал, что он действовал с заранее обдуманном намерением, и приговорил его. Что же тут хорошего? Нет, уж я, если бы меня кто оскорбил или ударил...

Он не договорил, но так крепко сжал в кулак свою маленькую руку, державшую поводья, что она задрожала. Лбов вдруг затрясся от смеха и прыснул.

— Опять! — строго заметил Веткин.

— Господа... пожалуйста... Ха-ха-ха! В М-ском полку был случай. Подпрапорщик Краузе в Благородном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти оторвал. Тогда Краузе вынул револьвер — рраз ему в голову! На месте! Тут ему еще какой-то адвокатишка подвернулся, он и его бах! Ну, понятно, все разбежались. И тогда Краузе спокойно пошел себе в лагерь, на переднюю линейку, к знамени. Часовой окрикивает: «Кто идет?» — «Подпрапорщик Краузе, умереть под знаменем!» Лег и прострелил себе руку. Потом суд его оправдал.

— Молодчина! — сказал Бек-Агамалов.

Начался обычный, любимый молодыми офицерами разговор о случаях неожиданных кровавых расправ на месте и о том, как эти случаи проходили почти всегда безнаказанно. В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет врубился с шашкой в толпу евреев, у которых он предварительно «разнес пасхальную кучку». В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальной зале студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом городе — не то в Москве, не то в Петербурге — офицер застрелил, «как собаку», штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают.

Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг, краснея от замешательства, без надобности поправляя очки и откашливаясь, вмешался в разговор:

— А вот, господа, что я скажу с своей стороны. Буфетчика я, положим, не считаю... да... Но если штатский... как бы это сказать?... Да... Ну, если он порядочный человек, дворянин и так далее... зачем же я буду на него, безоружного, нападать с шашкой? Отчего же я не могу у него потребовать удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так сказать...

— Э, чепуху вы говорите, Ромашов, — перебил его Веткин. — Вы потребуе удовлетворения, а он скажет: «Нет... э-э-э... я, знаете ли, взэбще... э-э... не признаю дуэли. Я противник кровопролития... И кроме того, э-э... у нас есть мировой судья...» Вот и ходите тогда всю жизнь с битой мордой.

Бек-Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой.

— Что? Ага! Соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, говорю: учись рубке. У нас на Кавказе все с детства учатся. На прутьях, на бараньих тушах, на воде...

— А на людях? — вставил Лбов.

— И на людях, — спокойно ответил Бек-Агамалов. — Да еще как рубят! Одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось. Вот это удар! А то что и мараться.

— А ты, Бек, можешь так?

Бек-Агамалов вздохнул с сожалением:

— Нет, не могу... Барашка молодого пополам пересеку... пробовал даже телячью тушу... а человека, пожалуй, нет... не разрублю. Голову снесу к черту, это я знаю, а так, чтобы наискось... нет. Мой отец это делал легко...

— А ну-ка, господа, пойдете попробуем, — сказал Лбов молящим тоном, с загоревшимися глазами. — Бек, милочка, пожалуйста, пойдём...

Офицеры подошли к глиняному чучелу. Первым рубил Веткин. Придав озверелое выражение своему

доброму, простоватому лицу, он изо всей силы, с большим, неловким размахом ударил по глине. В то же время он невольно издал горлом тот характерный звук, — хрясь! — который делают мясники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на четверть аршина, и Веткин с трудом вывязил его оттуда.

— Плохо! — заметил, покачав головой, Бек-Агамалов. — Вы, Ромашов...

Ромашов вытащил пашку из ножен и сконфуженно поправил рукой очки. Он был среднего роста, худощав, и хотя довольно силен для своего сложения, но от большой застенчивости неловок. Фехтовать на эспадронах он не умел даже в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это искусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же время инстинктивно выставил вперед левую руку.

— Руку! — крикнул Бек-Агамалов.

Но было уже поздно. Конец пашки только лишь слегка черкнул по глине. Ожидавший большего сопротивления, Ромашов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие пашки, ударившись об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь.

— Эх! Вот видите! — воскликнул сердито Бек-Агамалов, слезая с лошади. — Так и руку недолго отрубить. Разве же можно так обращаться с оружием? Да ничего, пустяки, завяжите платком потуже. Институтка. Подержи коня, фендрик. Вот, смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, в сгибе кисти. — Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок пашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг. — Теперь глядите: левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его, как бы пилите, отдергивайте пашку назад... По-

нимаете? И притом помните твердо: плоскость пашки должна быть непременно наклонна к плоскости удара, непременно. От этого угол становится острее. Вот, смотрите.

Бек-Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана, впился в него острым, прицеливающимся взглядом и вдруг, блеснув пашкой высоко в воздухе, страшным, неувимым для глаз движением, весь упав наперед, нанес быстрый удар. Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разрезанный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была гладка, точно отполированная.

— Ах, черт! Вот это удар! — воскликнул восхищенный Лбов. — Бек, голубчик, пожалуйста, еще раз.

— А ну-ка, Бек, еще, — попросил Веткин.

Но Бек-Агамалов, точно боясь испортить произведенный эффект, улыбаясь, вкладывал пашку в ножны. Он тяжело дышал, и весь он в эту минуту, с широко раскрытыми злобными глазами, с горбатым носом и с оскаленными зубами, был похож на какую-то хищную, злую и гордую птицу.

— Это что? Это разве рубка? — говорил он с напускным пренебрежением. — Моему отцу, на Кавказе, было шестьдесят лет, а он лошади перерубал шею. Пополам! Надо, дети мои, постоянно упражняться. У нас вот как делают: поставят ивовый прут в тиски и рубят, или воду пустят сверху тоненькой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит, удар был верный. Ну, Лбов, теперь ты.

К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер Бобылев.

— Ваше благородие... Командир полка едут!

— Сми-ирррна! — закричал протяжно, строго и возбужденно капитан Слива с другого конца площади.

Офицеры торопливо разошлись по своим взводам.

Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее с одной стороны тяжело вылез, наклонив весь кузов набок, полковой командир, а с другой легко соскочил на землю полковой адъютант, поручик Федоровский — высокий, щеголеватый офицер.

— Здорово, шестая! — послышался густой, спокойный голос полковника.

Солдаты громко и нестройно закричали с разных углов плаца:

— Здравия желаем, ваш-о-о-о!

Офицеры приложили руки к козырькам фуражек.

— Прощу продолжать занятия, — сказал командир полка и подошел к ближайшему взводу.

Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил взводы, предлагал солдатам вопросы из гарнизонной службы и время от времени ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью, которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам. Солдат точно гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его старчески бледных, выцветших, строгих глаз, и они смотрели на него, не моргая, едва дыша, вытягиваясь в ужасе всем телом. Полковник был огромный, тучный, осанистый старик. Его мясистое лицо, очень широкое в скулах, суживалось вверх, ко лбу, а внизу переходило в густую серебряную бороду заступом и таким образом имело форму большого, тяжелого ромба. Брови были седые, лохматые, грозные. Говорил он, почти не повышая тона, но каждый звук его необыкновенного, знаменитого в дивизии голоса — голоса, которым он, кстати сказать, сделал всю свою служебную карьеру, — был ясно слышен в самых дальних местах обширного плаца и даже по шоссе.

— Ты кто такой? — отрывисто спросил полковник, внезапно остановившись перед молодым солда-

том Шарафутдиновым, стоявшим у гимнастического забора.

— Рядовой шестой роты Шарафутдинов, ваша высокоблагородия! — старательно, хрипло крикнул татарин.

— Дурак! Я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?

Солдат, растерявшись от окрика и сердитого командирского вида, молчал и только моргал веками.

— Н-ну? — возвысил голос Шульгович.

— Который лицо часовой... неприкосновенно... — залепетал наобум татарин. — Не могу знать, ваша высокоблагородия, — закончил он вдруг тихо и решительно.

Полное лицо командира покраснело густым кирпичным старческим румянцем, а его кустистые брови гневно сдвинулись. Он обернулся вокруг себя и резко спросил:

— Кто здесь младший офицер?

Ромашов выдвинулся вперед и приложил руку к фуражке.

— Я, господин полковник.

— А-а! Подпоручик Ромашов. Хорошо вы, должно быть, занимаетесь с людьми. Колени вместе! — гаркнул вдруг Шульгович, выкатывая глаза. — Как стоите в присутствии своего полкового командира? Капитан Слива, ставлю вам на вид, что ваш субалтерн-офицер не умеет себя держать перед начальством при исполнении служебных обязанностей... Ты, собачья душа, — повернулся Шульгович к Шарафутдинову, — кто у тебя полковой командир?

— Не могу знать, — ответил с унынием, но поспешно и твердо татарин.

— У!..... Я тебя спрашиваю, кто твой командир полка? Кто — я? Понимаешь, я, я, я, я, я!.. — И Шульгович несколько раз изо всей силы ударил себя ладонью по груди.

— Не могу знать...

— — выругался полковник длинной, в двадцать слов, запутанной и циничной фразой. — Капитан Слива, извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет, каналья, под ружьем. Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе-с. Вальсы танцуете? Поль де Коков читаете?.. Что же это — солдат, по-вашему? — ткнул он пальцем в губы Шарафутдинову. — Это — срам, позор, омерзение, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает... У-д-дивляюсь вам, подпоручик!..

Ромашов глядел в седое, красное, раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами... И вдруг, почти неожиданно для самого себя, он сказал глухо:

— Это — татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, и кроме того...

У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали дряблые щеки и глаза сделались совсем пустыми и страшными.

— Что?! — заревел он таким неестественно оглушительным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны. — Что? Разговаривать? Ма-ал-чать! Молокосос, прапорщик позволяет себе... Поручик Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ромашова домашнему аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины. А капитану Стиве объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушить своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге.

Адьютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у козырька фуражки.

— Стыдно вам-с, капитан Слива-с, — ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь. — Один из лучших офицеров в полку, старый служака — и так распускаете молодежь. Подтягивайте их, жучьте их без стеснения. Нечего с ними стесняться. Не барышни, не размокнут...

Он круто повернулся и, в сопровождении адъютанта, пошел к коляске. И пока он садился, пока коляска повернула на шоссе и скрылась за зданием ротной школы, — на плацу стояла робкая, недоумелая тишина.

— Эх, ба-тень-ка! — с презрением, сухо и недружелюбно сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расходились по домам. — Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и молчали, если уж бог убил. Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой мне черт вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Вам бы сиську сосать, а не...

Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь сторбившись, опустившись, поплелся домой, в свою грязную, старческую холостую квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, узкую и длинную спину, и вдруг почувствовал, что в его сердце, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у которого во всем мире остались только две привязанности: строевая красота своей роты и тихое, уединенное ежедневное пьянство по вечерам — «до подушки», как выражались в полку старые запойные бурбоны.

И так как у Ромашова была немножко смешная, наивная привычка, часто свойственная очень молодым людям, думать о самом себе в третьем лице,

словами шаблонных романов, то и теперь он произнес внутренне:

«Его добрые, выразительные глаза подернулись облаком грусти...»

II

Солдаты разошлись повзводно по квартирам. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешимости на шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской службы испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей, — это тоскливое чувство незнания, куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей квартире, об офицерском собрании были ему противны. В собрании теперь пустота; наверно, два подпрапорщика играют на скверном, маленьком бильярде, пьют пиво, курят и над каждым шаром ожесточенно божатся и сквернословят; в комнатах стоит застарелый запах плохого кухмистерского обеда — скучно!..

«Пойду на вокзал, — сказал сам себе Ромашов. — Все равно».

В бедном еврейском местечке не было ни одного ресторана. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в самом жалком, запущенном виде, и поэтому вокзал служил единственным местом, куда обыватели ездили частенько покутить и встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой скуке провинциальной жизни.

Ромашов любил ходить на вокзал по вечерам, к курьерскому поезду, который останавливался здесь в последний раз перед прусской границей. Со стран-

ным очарованием, взволнованно следил он, как к станции, стремительно выскочив из-за поворота, подлетал на всех парах этот поезд, состоявший всего из пяти новеньких, блестящих вагонов, как быстро росли и разгорались его огненные глаза, бросавшие вперед себя на рельсы светлые пятна, и как он, уже готовый проскочить станцию, мгновенно, с шипением и грохотом, останавливался — «точно великан, ухватившийся с разбега за скалу», — думал Ромашов. Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкновенно изящных костюмах, выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, с ленивым смехом. Никто из них никогда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь — вечный праздник и торжество...

Проходило восемь минут. Звенел звонок, свистел паровоз, и сияющий поезд отходил от станции. Торопливо тушились огни на перроне и в буфете. Сразу наступали темные будни. И Ромашов всегда подолгу с тихой, мечтательной грустью следил за красным фонариком, который плавно раскачивался сзади последнего вагона, уходя во мрак ночи и становясь едва заметной искоркой.

«Пойду на вокзал», — подумал Ромашов. Но тотчас же он поглядел на свои калоши и покраснел от колючего стыда. Это были тяжелые резиновые калоши в полторы четверти глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом он посмотрел на свою шинель, обрезанную, тоже ради грязи,

по колени, с висящей внизу бахромой, с засаленными и растянутыми петлями, и вздохнул. На прошлой неделе, когда он проходил по платформе мимо того же курьерского поезда, он заметил высокую, стройную, очень красивую даму в черном платье, стоящую в дверях вагона первого класса. Она была без шляпы, и Ромашов быстро, но отчетливо успел разглядеть ее тонкий, правильный нос, прелестные маленькие и полные губы и блестящие черные волнистые волосы, которые от прямого пробора посередине головы спускались вниз к щекам, закрывая виски, концы бровей и уши. Сзади нее, выглядывая из-за ее плеча, стоял рослый молодой человек в светлой паре, с надменным лицом и с усами вверх, как у императора Вильгельма, даже похожий несколько на Вильгельма. Дама тоже посмотрела на Ромашова, и, как ему показалось, посмотрела пристально, со вниманием, и, проходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкновению: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной, художавой фигуре молодого офицера». Но когда, пройдя десять шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она, и ее спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил себе самого себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуманную красивую фразу и покраснел мучительно, до острой боли, от нестерпимого стыда. И даже теперь, идя один в полутьме весеннего вечера, он опять еще раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд.

— Нет, куда уж на вокзал, — прошептал с горькой безнадежностью Ромашов. — Похожу немного, а потом домой...

Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые, низкие домики с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих — все почернело, утратило цвета и перспективу; все предметы обратились в черные плоские силуэты, но очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воздухе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтарными, и фиолетовыми огнями. А над вулканом поднималось куполом вверх, зеленая бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.

Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за яркой вечерней зарей какая-то таинственная, светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами, сверкали брильянты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги. И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть — очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами, ходят, богоподобные, светлые, полные неопишуемой радости, не знающие преград в счастье и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой...

Литературно-художественное издание

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН
ПОЕДИНОК

Редактор Алла Степанова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Александра Савастени
Корректоры Людмила Ни, Татьяна Бородулина
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 31.10.2017.
Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 12,69. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-AKB-8211-05-R

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят известнейшие российские издательства: «Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри». Наши книги — это русская и зарубежная классика, современная отечественная и переводная художественная литература, детективы, фэнтези, фантастика, non-fiction, художественные и развивающие книги для детей, иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям знаний, историко-биографические издания. Узнать подробнее о наших сериях и новинках вы можете на сайте Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг, узнать о различных мероприятиях и акциях, а также заказать наши книги через интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/